



Г. А. ЛЕМАН-АБРИКОСОВ

Воспоминания (1900-е — 1920-е годы)

<фрагмент>

<...> Почему на меня так стимулирующе подействовала выставка М. В. Нестерова? Несомненно, потому, что я на ней увидел несколько портретов хорошо мне знакомых людей, дорогих по той атмосфере горячей умственной жизни, которая в те давние времена так чаровала и втягивала на самые вершины духовной жизни. На выставке были портреты трех таких лиц: И. А. Ильина, о. Павла Флоренского¹, так ужасно погибшего, и на одном полотне с ним — С. Н. Булгакова. Этот двойной портрет — Флоренского и Булгакова — я где-то видел раньше. Портрет Ильина увидел здесь впервые. Когда я его увидел — передо мной воскресла вся тогдашняя Москва. Москва, когда в ней откуда-то неожиданно и внезапно появился Ильин. До этого момента никогда о нем не было слышно, он совсем не был известен в университете, в частности на нашем юридическом ф<акульте>те, на котором он именно и воссиял. Я помню, он мне говорил, что у него в Вене в сейфе лежит начало его работы о Гегеле. Из этого можно заключить, что он пробыл, и, видимо, не один год, за границей. Я не могу вспомнить, где и как мы с ним познакомились. Но как-то он явился ко мне как к издателю — впоследствии он меня называл своим «эдитером» — с просьбой издать его работу о Гегеле. В это время его работа была уже закончена и какой-то знакомый еврей дал ему деньги на ее печатание. Однако это печатание почему-то не шло на лад, и его просьба состояла в том, чтобы продолжить это неудавшееся печатание и довести его до конца. Я с полным удовольствием взялся за это дело и действительно благополучно довел его до конца. Благополучие, в частности, состояло в том, что он должен был через некоторое время защищать свою работу в каче-

стве магистерской диссертации и очень просил меня суметь ко дню защиты напечатать второй том. Это мне удалось, и на самый диспут я принес ему несколько экземпляров второго тома. Он тут же их вручил некоторым из заседавших на диспуте профессоров, и в результате ему была присуждена прямо степень доктора. Я говорю «в результате», потому что в постановлении было подчеркнуто, что это делается, в частности, «принимая во внимание появление второго тома». Его работа — труд необычайной глубины, сложности и мало кому доступен по своей отвлеченности. Но зато он сразу поставил Ильина высоко во мнении русского общества, давшего ему прозвище «гегельянец», что, впрочем, не следует понимать как сторонник учения Гегеля, а именно только как автор работы о Гегеле. Ильин сразу показал себя человеком сильного характера, резким, крайне нетерпимым, пуритански настроенным и вообще савонароловского² склада. Страстно уверенный в себе, непогрешим, как папа, он презирал и ненавидел всех инакомыслящих или тех, поведение кого с моральной точки зрения он не одобрял. Он мне сам говорил, что когда на публичных его выступлениях кто-нибудь ему возражал, оспаривал и т. п., то ему хотелось такого человека... убить! Иллюстрацией его морального ригоризма может служить его столкновение с Андреем Белым, по-нашему — Бор<исом> Ник<олаевичем> Бугаевым. Ильин дружил и очень высоко ставил композитора Метнера. Мне неизвестно, что произошло между Метнером и Андреем Белым, — то ли Белый что-либо неуважительное сказал о Метнере, а м<ожет> б<ыть>, в их личном общении у них произошло какое-нибудь столкновение — не знаю. Но Ильин не мог остаться равнодушным к этому какому-то оскорблению или обиде, будто бы нанесенным его другу, и разрешился обширным, в высшей степени резким, злобным письмом к Андрею Белому. Ильин мне это письмо прочел и явно был доволен собой, что сумел так «отделать» Белого. Нужно сказать, что это было весьма неумно и весьма наивно. <...> Наброситься на невиннейшего Андрея Б<елого> с савонароловскими проклятиями было поистине наивно и нелепо. Я помню, письмо кончалось уведомлением Белого, что при встрече Ильин не считает возможным ему поклониться и т. п. угрозами. Помнится, я от кого-то слышал такую же оценку этого поступка Ильина, какую даю здесь.

Указанные мною черты этого «страстного» Ивана Ал<сан>дровича весьма ярко проявились в его общественных выступлениях. Окт<ябрьская> рев<олюция>³ застала русское общество в сильном религ<иозном> подъеме. И первые годы революции

ознаменовались наполненными храмами, участиями в крестных ходах профессоров и академиков, докладами на религиозные темы, глубокомысленными концепциями происходящих событий в аспекте религиозном и т. п. Характерно это и для Ильина. Но следует оговориться, что он стоял в этом отношении совершенно одиноко и в том смысле, что не *примыкал ни к единому «кружку»*, течению, равно как, насколько мне известно, не принадлежал и к тем, кого можно назвать «церковниками». В полном соответствии со всем своим внутренним складом он гордо стоял как одинокая фигура, вынашивал свои личные взгляды и убежденно и страстно верил, что нашел нечто нужное если не христианству как таковому, то, во всяком случае, нашему русскому православию. То, что он нашел и к чему призывал, он твердо называл «реформацией», однако отнюдь не связывал этого с историческим лютеранством. Ильин просто полагал, что церковь как бы доживает себя, не способна удовлетворить нынешние потребности в обл<асти> религиозной и что нужно как-то обновить ее, внести какой-то новый дух в ее жизнь, сделать ее вновь жизнеспособной. Он что-то писал в этом направлении, выступал с докладами, *организовывал семинары в частных домах*: я неоднократно на них бывал. В его выступлениях слышался пафос исповедника, вождя, чуть ли не пророка. Однако то, что мы от него слышали, было очень малоубедительно. Он упорно подчеркивал, и это, по-видимому, было одним из его основных тезисов, что «моя вера — это не твоя вера, а твоя вера — это не моя вера», всячески подчеркивал этот чисто личный элемент религиозных переживаний. Особенно яркое воспоминание осталось у меня от *его выступления в большой аудитории Психологического института* во дворе так называемого нового университета. Он выступал все с тем же материалом, какой я уже слышал от него на его семинарах. Интересна была сама манера его выступлений. Она была в какой-то степени театральна, но отнюдь не в том смысле, чтобы он «рисовался». Нет, в глубочайшей искренности, даже непосредственности Ильина я твердо убежден. Но таков был самый, так сказать, стиль его личности. Высокого роста, очень худой, какой-то изможденный, похожий на блондинистого Мефистофеля, кажется, он страдал туберкулезом, он гордо и как бы свысока оглядывал аудиторию, затем вынимал из портфеля маленький, легко умещавшийся в портфеле, совсем простой работы пультик, ставил его перед собой, клал на него рукопись и начинал читать, всегда читал, а не говорил, как-то сказал мне,

что он что-нибудь пишет только, когда у него в голове все до последнего слова готово; положить на бумагу — было уже делом чисто механическим. Я, конечно, не помню содержания его выступления. Но у меня сохранились в памяти некоторые отзвуки присутствующих, высказанные во время перерыва, который Ильин объявил перед второй частью своего доклада. Помню, *Н. А. Бердяев* сказал, что творчество Ильина «анэротично», что было весьма справедливо. Князь *А. Д. Оболенский* заметил, что мысль Ильина не длиннее воробьиного носа. Но совершенно замечательно сказал *Федор Степун*⁴, человек очень умный, в настоящее время проф. Мюнхенского ун<иверсите>та. Он определил выступление Ильина как «*религиозное помешательство неверующей души*». Сказать лучше было невозможно. При всей моей даже любви к Ильину, я могу сказать со спокойной совестью, что весь огромный пафос, какой он вкладывал в свою квазирелигиозную проповедь, был мыльным пузырем, из кот<оро>го ничего не могло получиться. На своем двухтысячелетнем пути Церковь пережила много изменений и так или иначе понимаемых «реформ». Но ведь все эти реформы были проводимы людьми, носившими в глубине своей души подлинное религиозное чувство. Благодаря этому все эти реформы — изменение обрядов, установление новых обрядов, создание молитв и т. п. — носили, так сказать, имманентный характер. Рожденные религиозным путем, они являлись естественным развитием внутреннего содержания христианства, православия, церковности. Люди жили в христианстве, пребывая в нем, и потому самая устремленность их, хотя бы к новому, не взрывала Церковь, а только раскрывала в ней большую глубину ее духа, все большую ее значительность. Ильин же стоял совершенно вне этого, стоял, так сказать, «вне церковной ограды» и так со стороны, извне мечтал в ней что-то изменить. Его «реформа» была попыткой вторгнуться в Ц<ерковь> именно извне и навязать ей то, что ему, ему лично, казалось разумным и нужным. Это несколько напоминало безнадежные потуги Толстого свое личное, слишком личное, объективировать в общеистинное и общеобязательное. Жизненная наивность, а с т<очки> зр<ения> христианской и гордыня лежали в конечном счете в этой необоснованной взбудораженности, которой так волновался и пытался волновать нас Ильин.

Во время рев<олюции> Ильин сразу занял видное место в московском обществе. Я не был на том совещании, кот<орое> было организовано в Большом театре при Керенском. Насколь-

ко мне известно, Ильин на этом совещании выступал и стяжал себе славу оратора Божьей милости и, конечно, стал широко известен по составу своих политических воззрений. Не могу точно вспомнить, была ли это книга или доклад, но я точно помню, что у него была *превосходная работа на тему о патриотизме*⁵, для чего я побуждал Ильина написать на эту тему книжку.

